

Игра слов

Алексей Карташов

М

еерович любил свой кабинет. Кроме стола с экраном, заваленного распечатками статей, проектами в ветхих папках, листочками с расчетами и полусохшими ручками; кроме пары шкафов с журналами и книгами, от университетских учебников (еще на русском) до последних монографий — тяжелых, блестящих; кроме старомодной тяги в углу, которой уж лет десять никто не пользовался, с тех самых пор, как построили новый лабораторный корпус на авеню Бенджамина Франклина, — был еще один предмет, который Меерович любил почему-то нежнее всего. Белая доска, которую упорный язык-консерватор называл blackboard.

Меерович, как всякий выпускник советского университета, помнил эти тоскливые доски из линолеума. До сих пор в пальцах жило ощущение — мел, вдруг соскальзывающий с доски, когда в корявом белом бруске попадалась мягкая ракушка. Сухие ладони к концу лекции, воняющие мокрой тряпкой. Пиджак в белых пятнах.

— Наверное, я эстет? — задумчиво спросил Меерович и хмыкнул, вспомнив малопристойную цитату из «Швейка».

Эстет ли, нет, но он любил упругое скольжение маркера по белой поверхности, легкий запах ацетона, который до сих пор был слаще всех других, тонкие четкие линии. Формула, выписанная на доске, казалась убедительнее, чем начерканная на бумаге. Конечно, когда из принтера выползала белая страница с мелкими черными символами, это было особое ощущение завершенности и даже слегка религиозного восторга. Но до принтера он допускал только уже выверенное, а пока размышлял, любил расхаживать вдоль ослепительной доски, играя маркером, и записывать уравнения.

Привлекало и то, что неверное можно было стереть аккуратным брусочком с мягкой мохнатой гранью, и мир будто откатывался назад, как в компьютерной игре. Меерович стирал стрелочку, и реакция, уже отбурлившая и выгоревшая дотла, замирала — ждала терпеливо, пока он изменит условия. Мгновение останавливалось, и никогда метафора не казалась ему такой очевидной и весомой, как в этот момент. Заодно и математические символы в уравнениях можно было выписать тщательнее — он сохранил детское уважение к этим завитушкам и всякий раз, расставляя пределы в суммах и интегралах, ощущал какой-то покой, как будто отдавал мысль в руки профессионала. Может быть, оттого, что побоялся в свое время идти на мехмат, думал он иногда.



Художник Н. Колпакова



Когда заходили коллеги и затевался спор, то корректный, то раздраженный, доску покрывали горячечные выплески. Меерович вручал каждому маркер своего цвета и потом словно со стороны, глазами ребенка, смотрел, как красный теснит и окружает зеленый и вдруг небесно-синий врезается и ставит точку, оставляя разбитых и обескураженных противников, остывшие ненужные выкладки.

Одна беда была с этой доской: как аккуратно ни вытирал ее Меерович, как ни просил аспирантов стирать свои записи, постепенно доска тускнела и покрывалась слабыми, почти не видными следами отгремевших боев. Посредине виднелись остатки торжествующей записи — это друг Хоггард из Кембриджа, Англия, вывел наконец свое уравнение диффузии несмываемым маркером, схвативши его со стола. Несмываемый — это уж слишком сильно сказано, лучше было бы его назвать «плохо смываемый».

Меерович даже ходил к органикам на второй этаж, приносил все мыслимые полярные растворители — ничего не помогало. Следы накапливались, и он даже подумывал — не заказать ли новую доску? Но, воспитанный в разумной скупости университета, не решался взять да и выкинуть две сотни плюс два часа работы единственного плотника на департамент, невыносимо медлительного, но со всех сторон прикрытого профсоюзным щитом.

И в этот вечер Меерович сидел, в каком-то оцепенении глядя на белую поверхность. Семестр заканчивался, студенты на сегодня разошлись, в голову не лезло ничего, кроме какой-то ерунды. Может, и не такой уж ерунды — он думал о том, что останется после него. Студенты-первогодки, бессмысленными глазами глядящие на таблицу элементов, большой надежды не подавали. Собственная работа казалась надежнее: в лаборатории он терял ощущение времени и был счастлив, хотя и понимал, что разумнее, как делали все, поручить это аспирантам. Меерович рассматривал собственные пальцы и думал: ну как азотная кислота попадает на ногти? Ведь двадцать лет лабораторного стажа!

Солнце, уже краснеющее, било через жалюзи сбоку на доску. «Домой пора», — думал Меерович, скользя взглядом по доске, когда вдруг что-то привлекло его внимание, и он забеспокоился и даже встрепенулся.

Следы былых баталий определенно лежали неслучайно. Он все еще не понимал, скользил взглядом слева направо, но ничего не складывалось.

«Что же это такое? Знаки? Буквы?» И снова пробежал глазами две строки. Определенно, да, две строки, но...

Тут наконец кликнуло в голове: справа налево, вот же оно. Пламенные буквы иврита. Все мгновенно, сделав неуправляемое движение внутри мозга, перестроилось, не тронувшись с места, и встало в четком и стройном, осмысленном порядке.

Только вот иврита он не знал. Дедушка-раввин, пристукнутый советской властью, как гвоздь, по самую шляпку, не сумел настоять и научить его.

Меерович тряхнул головой, боязливо закрыл глаза, хотел досчитать до десяти, но не выдержал, открыл на счет «три», и благодарность плеснула внутри: надпись была на месте. Он рывком встал и вышел в коридор, хотелось пройтись.

— *Es tarde, señor*¹, — раздался мягкий голос за спиной. «Мексиканец, Диего Ривера наш», — подумал Меерович, сделал на лице вежливую улыбку и обернулся. Уборщик стоял у стены, неподвижный, с ведром и шваброй, а почему-то казалось, с винтовкой. Не зря вспоминался герой Джека Лондона: непонятно, что горело у него в глазах. Меерович по старой привычке чувствовал неловкость перед мексиканцем

— он-то сидит в своем офисе, а парень работает с утра до ночи на грязной и тяжелой работе.

— Да и правда поздно. — Он вернулся, подхватил портфель, бросил на доску последний взгляд и вышел мимо вежливо посторонившегося Диего. — *Vuenas noches*, — попрощался Меерович зачем-то по-испански.

Завтра надо зайти в соседний корпус, к Менахему, гебраисту. Что это за слова, откуда взялись? Сколько же случайностей в нашей жизни, просто забавно.

Наутро он открыл дверь в офис и долго в оцепенении смотрел на доску, снова белую и сияющую непорочно и стыдливо. Выскочил в коридор и наткнулся на Диего.

— Что ж ты сделал? — Диего не понимал, смотрел испуганно. Меерович устыдился, спросил спокойнее: — Ты вымыл ее? — Показал жестом, прибавил: — Вот! — И указал на мерцающую слабо доску.

Диего улыбнулся до ушей:

— Да, сеньор. Мне прислали специальную жидкость.

— А... да. Специальную жидкость. Спасибо, большое спасибо. — И Меерович, сделав усилие, приветливо улыбнулся.

— Не за что! — Диего улыбнулся еще шире. — Что еще я могу сделать?

— Спасибо, больше ничего. — Меерович продолжал стоять, потом развернулся и побрел к себе. «Вот ведь идиотизм», — подумал он. Ладно, пора делами заняться.

— Диего, ты все сделал как надо. — Сидевший в полутьме сделал мягкий округлый жест ладонью. — Верни мне остаток жидкости.

Рука протянулась, Диего вытащил из кармана пузырек, вложил в руку, очередной раз подивившись, какая же она холодная.

— Я хочу теперь тебе объяснить кое-что. Ты заканчиваешь пятый год послушания в ордене чистильщиков. — Говоривший встал, не выходя из темноты, мягко прошелся вправо-влево. — Бог, в своей неизреченной милости, посылает людям знаки. А мы должны решать, кто достоин их, а кто нет. Мы, и только мы. Если человек — а он слаб — не видит знаков Бога или не торопится их прочесть, мы должны стереть их. Слабый и нечуткий человек не сумеет употребить их на благо. Ты еще пока не знаешь, что такое благо, но ты дорастешь до этого. Иди, да пребудет с тобой Всевышний. Отдохни три дня и молись.

Диего низко склонился, замер на секунду, потом распрямился и, пятясь, вышел из комнаты. Прошел через две двери, спустился по лестнице, сел в старенькую «мазду». Три дня! А теперь домой. Ведь там лежит бумажка со срисованными буквами. Надо разобраться. Время есть.

¹ Поздно, сеньор (исп.)

